



О МОЕМ ДРУГЕ

Он был бы красив, когда бы не был уродлив: высок, сложен, как Геркулес, лицо смуглое; в живых глазах, полных ума, всегда сквозит обида, тревога или злость, и оттого то он кажется свирепым. Его проще разгневать, чем развеселить, он редко смеется, но любит смешить; его речи занимательны и забавны, в них есть что то от паяца Арлекина и от Фигаро; он ничего не смыслит лишь в том, в чем почитает себя знатоком, — в танцах, французском языке, правилах хорошего тона, знании света.

Одни комедии его не смешны, одни философские сочинения поверхностны — все прочие язвительны, оригинальны, остры и глубоки. Он кладезь премудрости, но до отвращения часто цитирует Горация. У его шуток привкус аттической соли. Он чувствителен и отзывчив, но стоит его хоть чем-нибудь обидеть, как он становится злым, сварливым, несносным — даже за миллион не согласится забыть задевшую его невинную шутку.

Его писания напоминают старинные предисловия — многозначительные и тяжеловесные, но когда ему есть что рассказать — к примеру, свои приключения, — он делается столь оригинальным и естественным, так оживляет действие, почти превращая его в пьесу, что им нельзя не восхищаться; сам того не ведая, он превзошел автора «Жиль Бласа»¹ и «Хромого беса»². Он верит лишь в чудеса и до крайности суеверен; по счастью, человек он честный и деликатный, а то мог бы натворить дел, объявив: «Я дал обет» или: «Такова воля Господня».

Все ему любо, все желанно; он все изведal и умеет безо всего обойтись. Женщины, в особенности юные девицы, волнуют его воображение, но — уже не более того. Его это бесит, заставляет проклинать прекрасный пол, себя, небеса, естество и

¹ «История Жиль Бласа из Сантьяны» — плутовской роман, написанный Аленом Рене Лесажем с 1715 по 1735 год. Роман считается последним шедевром плутовского жанра.

² «Хромой бес» — плутовской роман Луиса Велеса де Гевары, вышедший в свет в Мадриде в 1641 году

1742 год; он находит отмщение, уничтожая яства и вина: исчез бог парков и сатир лесов, остался хищник застолий. Он ничего не щадит, приступает к трапезе с весельем, а оканчивает ее с грустью, печальясь, что не может начать с начала.

Если он и дурачил изредка простаков, выманивал деньги у мужчин и женщин, то делал это, дабы составить счастье близких ему людей. В беспутствах бурной юности, весьма сомнительных похождениях выказал он себя человеком порядочным, утонченным и отважным. Он горд, ибо он ничто и не имеет ничего: будь он рантье, финансист или вельможа, то, верно, держался бы проще. Ему нельзя противоречить, а уж тем более смеяться над ним; его надобно читать или слушать, но самолюбие его всегда начеку: никогда не признавайтесь, что вам известна история, которую он собирается поведать, внимайте ей, как в первый раз. Не забывайте вежливо раскланиваться с ним — пустяк обратит его во врага.

Богатая фантазия и природная живость, опыт многочисленных путешествий, испробованных профессий, твердость духа и презрение к житейским благам делают его человеком редкостным, интереснейшим для знакомства, достойным уважения и преданной дружбы небольшого числа лиц, снискавших его расположение.

*Князь Шарль-Жозеф де Линь,
друг Казановы*



**ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИАКОМО КАЗАНОВЫ, КАВАЛЕРА де СЕНГАЛЬТА,
ВЕНЕЦИАНЦА, ОПИСАННЫЕ ИМ САМИМ**

Предисловие автора

Я хочу предупредить читателя, что все, происшедшее со мной в течение жизни, — хорошее или плохое — без сомнения, заслужено, и поэтому я могу считать себя человеком свободным.

В этих мемуарах читатель увидит, что я, никогда не стремясь к какой-либо определенной цели, если и следовал системе, то лишь такой, чтобы отдаваться на волю увлекавшего меня ветра. Сколь полна превратностями сия свобода! Мои радости и неудачи, испытанное добро и зло, все убедило меня, что в нашем мире, как духовном, так и материальном, из зла всегда следует добро и наоборот. Внимательный читатель поймет по моим заблуждениям, какие пути не следует выбирать, и постигнет великое искусство крепко держаться в седле. Нужна лишь смелость, ибо сила без уверенности бесполезна. Нередко судьба улыбалась мне после неосторожного поступка, который мог бы низвергнуть меня в пропасть. И, напротив, умеренное и продиктованное благоразумием поведение часто приводило к несчастным последствиям.

Вас позабавит, когда вы узнаете, сколь часто я не останавливался перед тем, чтобы обманывать легковверных, жуликов и дураков, если мне это было необходимо. А в отношении женщин обман всегда взаимный и не идет в счет. Другое дело — дураки. Я с удовольствием вспоминаю, как они попадались ко мне в сети. Их наглость и высокомерие оскорбляют здравый рассудок, и когда обманывают дурака, разум оказывается отмищенным. Поэтому я полагаю, что обманувший дурака заслуживает лишь похвалы. Я далек от того, чтобы смешивать дураков с людьми, которых называют простаками. Они такие по недостатку образования, и я не желаю им зла. Многие из них

отличаются безупречной честностью и прямодушием. Можно сказать, что это глаза, затянутые катарактой, которые без нее были бы прекрасны.

В 1797 году, семидесяти двух лет, когда я могу уже сказать «прожил», хотя и продолжаю еще существовать, мне было бы затруднительно придумать более приятное развлечение, чем занять себя своими собственными делами.

Вспоминая о прошлых радостях, я повторяю их и переживаю во второй раз. А неприятности и несчастья вызывают у меня лишь улыбку — их я уже не чувствую.

Мне были свойственны все темпераменты последовательно: слезливый — в младенчестве, сангвинический — в молодости, потом — раздражительный и, наконец, меланхолический, с которым, возможно, я и останусь. Всегда согласовывал я пищу со своей конституцией и поэтому пользовался отменным здоровьем. Рано познав, что на него больше всего влияют излишества, как в еде, так и в воздержании, стал я своим собственным лекарем. Здесь уместно заметить, что излишества в воздержании много страшнее излишеств в неумеренности, потому что последние дают несварение, а первые — смерть.

Теперь я старик и, несмотря на крепость моего желудка, вынужден есть один раз в день. Но в этом меня вознаграждают легкость пера и сладкий сон.

Сангвинический темперамент сделал меня весьма подверженным чарам сладострастия. Я всегда был расположен менять одно наслаждение на другое и отличался в этом отменной изобретательностью. Отсюда, несомненно, происходила и моя склонность завязывать новые знакомства, и величайшая легкость, с которой я порывал их, всегда, однако, понимая причину этого и никогда не руководствуясь здесь чистым легкомыслием.

Чувственные наслаждения постоянно были моим главным и самым важным занятием. Я не сомневался, что создан для прекрасного пола, всегда любил оный и старался, по мере возможного, заставить полюбить и себя. Кроме того, я обожал хороший стол и со страстью интересовался всем, что возбуждало мое любопытство.

Я имел друзей, делавших мне добро, и пользовался любой возможностью доказать им мою благодарность. Но были и отвратительные враги, преследовавшие меня, их я не уничтожил только потому, что это оставалось вне моих сил. Я никогда бы не простил им, если бы не забвение всего испытанного зла. Человек, забывающий обиды, на самом деле не прощает. Он просто не помнит их. Потому что прощение есть чувство героич-

ческое, свойственное благородному сердцу и великодушному уму, а забвение происходит от слабости памяти или беззаботности спокойной души, и нередко лишь от желания покоя.

Я счел бы себя виновным, если бы обладал сегодня состоянием. Но у меня нет ничего, я все истратил, это утешает и оправдывает меня.

Если покажется иногда, что я слишком подробно описываю некоторые любовные сцены, не следует вменять мне это в вину, кроме тех случаев, когда перо мое недостаточно искусно. Ведь у моей старой души нет других наслаждений, как радоваться одним только воспоминаниям.

ОЧЕРК МОЕЙ ЖИЗНИ

Матушка произвела меня на свет в Венеции, апреля 2 числа, на Пасху 1725 года. Накануне донельзя захотелось ей раков. Я до них большой охотник.

Окрестив, дали мне имя Джакомо Джироламо. До восьми лет с половиною был я слаб умом. После случилось у меня трехмесячное кровотечение, и я излечился; тогда отослали меня в Падую, и я, предавшись наукам, шестнадцати лет возведен был в доктора, облачен в одежды священника и отправлен искать счастья в Рим.

В Риме покровитель мой, кардинал Аквавива, дал мне отставку; причиной тому стала дочь моего учителя французского языка.

Восемнадцати лет вступил я, дабы принести пользу отечеству, в военную службу и отправился в Константинополь. Возвратившись двумя годами позже в Венецию, оставил я бранное поприще и избрал сгоряча презренное ремесло скрипача; все друзья мои ужаснулись, но я недолго предавался этому занятию. В возрасте 21 года один из первых венецианских синьоров сделал меня приемным сыном, и я, сделавшись довольно богат, отправился путешествовать по Италии, Франции, Германии и Вене, где и свел знакомство с графом Роггендорфом. Я возвратился в Венецию, и двумя годами позже венецианские государственные инквизиторы, движимые побуждениями истинными и мудрыми, заключили меня в тюрьму Пьомби.

Это государственная тюрьма, из которой прежде никому еще не удавалось бежать; однако ж я, с помощью Божией, по прошествии года и трех месяцев бежал оттуда и направился в Париж.

Там дела мои пошли столь хорошо, что я в два года разбогател и стал обладателем целого миллиона, и все же разорился опять. В надежде поправить положение свое поехал я в Голландию, затем отправился попытать несчастья в Штутгарт, потом счастья — в Швейцарию, а оттуда к г-ну де Вольтеру; после были приключения в Марселе, Генуе, Флоренции и Риме, где папа Редзониго, венецианец, произвел меня в кавалеры ордена Св. Иоанна Латранского и в апостолические протонотарии. То было в 1760 году.

В тот же год случилась мне удача в Неаполе. Во Флоренции выкрал я одну девицу, а на следующий год отправился на Аутсбургский конгресс с поручением от короля Португальского. Конгресс не состоялся, и, когда подписан был мир, я направился в Англию, откуда в следующем, 1764, году принужден был уехать по причине великой беды. Я избегнул виселицы, каковая, впрочем, меня бы не обесчестила — я всего лишь был бы повешен. В тот же самый год напрасно искал я счастья в Берлине и в Петербурге, нашел же его лишь на другой год и в Варшаве. Спустя девять месяцев утратил я его вновь, для того что имел дуэль на пистолетах с генералом Браницким. Я продырявил ему живот, но он в три месяца поправился, и я тому рад. Он храбрый человек.

Принужденный покинуть Польшу, отправился я в 1767 году в Париж, откуда понудило меня съехать тайное повеление об аресте; я прибыл в Испанию, и там случились со мной великие несчастья. В конце 1768 года заключили меня в Барселоне в подземелье башни; оттуда вышел я полтора месяца спустя и был выслан из Испании. Проступок мой заключался в ночных визитах к любовнице вице-короля, негодяйке изрядной. На границе Испании избегнул я наемных убийц и отправился болеть в Экс-ан-Прованс, где почти трехнедельное кровохарканье едва не свело меня в могилу.

В году 1769-м выпустил я в свет в Швейцарии защиту правительства венецианского против Амело де ла Уссе, собственного сочинения и в трех томах. На другой год английский посланник при туринском дворе послал меня с отменными рекомендациями в Ливорно. Я хотел было плыть в Константинополь с русским флотом, но адмирал Орлов не согласился на условия мои, и я вновь пустился в путь, направившись в Рим, где был тогда папою Ганганелли.

Счастливая любовь заставила меня покинуть Рим и отправиться в Неаполь; несчастная же любовь принудила три месяца спустя возвратиться в Рим. Я в третий раз дрался на шпагах

с графом Медини — тем, что четыре года назад умер в лондонской тюрьме, попав туда из-за долгов.

Денег у меня было много, и я отправился во Флоренцию, но на Рождество эрцгерцог Леопольд, что умер четыре или, пять лет назад императором, изгнал меня в трехдневный срок из своих владений. У меня была любовница, каковая, последовав моему совету, стала в Болонье маркизою де ***.

Утомившись кружить по Европе, решил я испросить помилования у венецианских государственных инквизиторов. В рассуждении этого обосновался я в Триесте, и через два года помилование получил. То было 14 сентября 1774 года. Въезд мой в Венецию по прошествии девятнадцати лет доставил мне наслаждение и стал прекраснейшей минутою моей жизни.

В 1782 году перессорился я со всем венецианским дворянством и в начале 1783 года, оставив добровольно неблагодарное отечество, отправился в Вену. Полугодом позже поехал я в Париж с намерением там обосноваться, однако ж брат мой, что жил в этом городе уже 26 лет, заставил меня позабыть собственные интересы и заняться его делами. Я избавил его от жениного ига и отвез в Вену, и принц Кауниц сумел уговорить его там остаться. В Вене он покуда и живет; он младше меня на два года.

Я вступил на службу к г-ну Фоскарини, венецианскому посланнику, и стал вести его переписку. Двумя годами позже скончался он у меня на руках от подагры, что вступила ему в грудь. Тогда решил я ехать в Берлин, рассчитывая на место в академии; однако ж на полдороге, в Теплице, задержал меня граф Вальдштейн и отвез в Дукс, где я пребываю поныне и где, должно быть, умру.

Это единственный очерк жизни моей, писанный мною; разрешаю использовать его по усмотрению вашему.

Non erubesco evangelium¹.

Джакомо Казанова

17 ноября 1797 года

МОИ ПРЕДКИ И МОЯ СЕМЬЯ

Дон Якопо Казанова, рожденный в Сарагоссе, столице Арагона, был побочным сыном дона Франциско и в 1428 году похитил из монастыря донну Анну Палафокс, как раз на следующий день после принятия ею монашеского обета. Дон Якопо

¹ Не почитаю евангелием (лат.).

состоял секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с монахиней в Рим, где, после года тюрьмы, папа Мартин III освободил Анну от обета и, по ходатайству дона Хуана Казановы, дяди дона Якопо и распорядителя святейшего дворца, благословил их союз. Все дети от этого брака умерли в раннем возрасте, исключая дона Хуана, который в 1475 году взял себе в жены донну Элеонору Альбини, от которой имел одного сына по имени Марк-Антонио.

В 1481 году дон Хуан убил неаполитанского офицера и был принужден покинуть Рим, укрывшись в Комо с женой и сыном, но в поисках удачи уехал и оттуда. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году.

Что касается Марка-Антонио, то он сделался весьма приличным поэтом в духе Марциала и служил секретарем у кардинала Помпео Колонны. Из-за сатиры на Джулио Медичи он был вынужден оставить Рим и возвратиться в Комо, где женился на Абондии Реззоники.

Тот же Джулио Медичи, сделавшись папой под именем Климента VII, простил его и возвратил в Рим. В 1526 году город этот был взят и разграблен императорским войском, а Марк-Антонио умер от чумы.

Впрочем, не случись сей напасти, он все равно отправился бы на тот свет по причине разорения, так как солдаты Карла V забрали все принадлежавшее ему имущество.

Через три месяца после его смерти вдова произвела на свет Джакомо Казанову, который умер во Франции в глубокой старости полковником армии Фарнезе, сражавшегося против Генриха Наваррского, ставшего потом королем Франции. Он оставил в Парме сына, тот женился на Терезе Конти, у них родился Джакомо, взявший в 1680 году в жены Анну Роли. Джакомо имел двух сыновей, Джованни-Батисту и Гаэтано-Джузеппе-Джакомо. Старший выехал из Пармы в 1712 году и более не возвращался. Младший через три года также покинул свое семейство в возрасте восемнадцати лет.

Вот то, что я нашел в записях моего отца. Все остальное, о чем я собираюсь рассказать, мне стало известно от матери.

Гаэтано-Джузеппе-Джакомо покинул отчий дом, увлеченный прелестями некой актрисы по имени Фраголетта. Влюбленному нечем было жить, и он решился зарабатывать хлеб, используя собственные способности, для чего занялся танцами, а через пять лет уже играл в комедиях, отличаясь, впрочем, скорее своим благонравием, нежели талантом.

То ли вследствие непостоянства, то ли по причине ревности он оставил Фраголетту и поступил в труппу венецианских

комедиантов, игравших в театре Св. Самюэля. Напротив дома, где он обитал, жил башмачник по имени Джеронимо Фаруси вместе со своей женой Марией и единственной дочерью Занеттой, необыкновенной красавицей шестнадцати лет. Молодой комедиант влюбился в девицу и сумел уговорить ее дать себя похитить. Это представлялось единственным средством, поскольку, будучи актером, он никогда бы не получил согласия Марии, не говоря уже о самом Джеронимо, ибо в их глазах ничто не могло быть хуже ремесла лицедея. Юные любовники, запасшись нужными бумагами и в сопровождении двух свидетелей, предстали перед венецианским патриархом, который и дал им брачное благословение. Мать Занетты была безутешна, а отец умер с горя.

От этого союза я и родился через девять месяцев, а именно 2 апреля 1725 года. В следующем году матушка оставила меня на руках бабки — та простила ее, узнав, что муж обещал никогда не принуждать Занетту идти на подможки. Комедианты всегда дают подобные обещания городским девушкам, на которых женятся, и никогда не держат свое слово, поскольку сами жены того и не требуют. А матери моей изрядно посчастливилось научиться играть в комедиях, ибо в противном случае у нее не было бы средств воспитывать шестерых своих детей, когда через девять лет она оказалась вдовой.

Итак, мне был год, когда отец оставил меня в Венеции и отправился на лондонские подможки. Именно в этом великом городе мать моя впервые вышла на сцену, и там же в 1727 году она разрешилась от бремени моим братом Франческо, ныне знаменитым живописцем баталий, который с 1783 года живет в Вене.

К концу 1728 года матушка возвратилась с отцом в Венецию, а поскольку сделалась к тому времени комедианткой, то и продолжала заниматься своим ремеслом.

Еще через два года она произвела на свет моего брата Джованни, скончавшегося в Дрездене, будучи уже директором Академии живописи. За три последующих года она сделалась матерью двух дочерей, одна из которых умерла в раннем возрасте, а другая вышла замуж в Дрездене, где и жила еще в 1798 году. У меня был и третий брат, родившийся после смерти отца; он скончался пятнадцать лет назад в Риме.

Отец мой покинул этот мир в расцвете жизни. Хотя ему было всего тридцать шесть лет, он сошел в могилу, сопровождаемый сожалением общества: все ценили его выше занимаемого им положения по причине образцовой нравственности и глубочайших познаний в механике.

Годы детства в Падуе

В сие печальное время мать моя была на шестом месяце, а потому не могла появляться на подмостках до конца пасхальных праздников. Несмотря на свою молодость и красоту, она отказывала всем, кто искал ее руки, и, поручив себя Провидению, надеялась воспитать нас собственными средствами.

Прежде всего она посчитала необходимым заняться мною, и отнюдь не по особому расположению, а вследствие моей болезни, из-за которой никак не могли понять, что со мной делать. Я был очень слаб, совершенно лишен аппетита, ничем не умел занять себя и с виду казался почти слабоумным. Врачи не могли договориться между собой о причине моего недуга. Каждую неделю, говорили они, он теряет два фунта крови из имеющихся шестнадцати или восемнадцати. Откуда же берет-ся столь обильное кровотечение?

Синьор Баффо, большой приятель моего покойного отца, обратился к знаменитому падуанскому врачу Макопу, который прислал ему свой диагноз в письменном виде. В этом документе, сохраняющемся у меня до сего времени, говорится, что кровь человека есть эластическая жидкость, способная увеличивать и уменьшать свою густоту, и мое кровотечение происходит по причине именно чрезмерной густоты. Он заключал, что это может быть порождено лишь вдыхаемым мною воздухом, а посему следует или увезти меня, или готовиться к вечной разлуке. Согласно его мнению, выражение тупости на моем лице также объясняется густотой крови.

По получении сего оракула аббат Гримани взялся найти для меня в Падуе подходящий пансион, обратившись к помощи одного знакомого химика, жившего в этом городе. Фамилия химика была Отгавиани, и служил он, кроме всего прочего, еще и антикваром. За несколько дней пансион отыскался, и 2 апреля 1734 года, в день, когда мне исполнилось девять лет, меня по Брентскому каналу отвезли на барке в Падую.

Мы приехали в ранний час и явились к Отгавиани, жена которого осыпала меня ласками. Он сразу же повел нас в тот дом, не далее чем в пятидесяти шагах, где я должен был остаться на пансионе у старухи-словенки. Перед нею открыли мой маленький сундучок и перебрали все его содержимое, после чего отсчитали шесть цехинов — плату за полгода вперед. Из этих денег она должна была кормить меня, содержать в чистоте и платить учителю; жалобы ее, что на все никак не хватит, остались без внимания. Меня расцеловали, велели беспреко-

словно слушаться и покинули. Вот так избавились от забот о моей персоне.

Как только мы оказались одни, словенка повела меня на чердак и указала мою кровать среди четырех других. Три из них принадлежали мальчикам моего возраста, которые в то время были в школе, а четвертая — служанке, присматривавшей за ними. Потом хозяйка показала мне сад и оставила гулять там до обеденного часа.

Я не испытывал ни радости, ни печали и не чувствовал даже малейшего любопытства. Меня ужасала сама хозяйка: не имея никакого представления ни о красоте, ни о безобразии, я не мог преодолеть отвращения при виде ее лица, всей наружности и манеры разговаривать. Она была высокой и плотной, как солдат, с желтой кожей, черными волосами и украшенным заметной растительностью подбородком. Безобразная и наполовину открытая грудь, свисавшая почти до пояса, завершала портрет. Ей было, наверно, лет пятьдесят.

То, что называлось «садом», представляло собой квадрат тридцать на сорок шагов, где глаз не встречал ничего приятного, кроме зелени.

К полудню явились трое моих товарищей и, словно мы были уже давно знакомы, стали рассказывать о множестве всяких предметов, почитая само собой разумеющимся то, о чем у меня не было ни малейшего представления.

Я ничего не отвечал им, но это никого не обескуражило, и под конец меня принудили разделить их невинные забавы. Я с готовностью согласился бегать, ездить друг на друге и кувыряться. Потом нас позвали обедать. Я уселся за стол, но, видя перед собой деревянную ложку, отбросил ее и потребовал свой серебряный прибор, который очень любил как подарок своей доброй бабки. Служанка возразила мне, что у хозяйки заведено для нас все одинаковое; я вынужден был подчиниться сему обычаю и принялся есть суп, удивляясь, что моим товарищам разрешают поглощать его с такой поспешностью. После этого весьма дурного супа нам дали по маленькому кусочку трески — день был постный, — потом по яблоку, и обед закончился. На столе не было ни чашек, ни стаканов, и все прикладывались к одной глиняной кружке с отвратительным пойлом, приготовленным из очищенного винограда и горячей воды. Дальше я пил только чистую воду. Подобный стол поразил меня, хоть я и не понимал, можно ли считать его плохим.

После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику доктору Гоцци, с которым словенка сговорилась на сорока су в месяц, то есть одиннадцатую часть цехина. Меня

надо было учить письму, и я попал к шестилетним детям, тут же принявшимся смеяться надо мной.

По возвращении мне дали ужин, оказавшийся еще хуже обеда. Я был удивлен, что на мои жалобы никто не обратил внимания.

Меня уложили в постель, где известные всем насекомые трех разновидностей не дали даже сомкнуть глаз.

К тому же крысы, бегавшие по всему чердаку и забиравшиеся на кровати, заставляли меня леденеть от ужаса.

Пожиравшие мое тело паразиты несколько умеряли страх перед крысами, а страх, в свой черед, отвлекал меня от укусов. Что касается служанки, то она не обращала на мои крики никакого внимания.

С первыми же лучами солнца я покинул отвратительное ложе и, пожаловавшись служанке на перенесенные тяготы, попросил у нее другую рубашку, так как на мою было страшно смотреть. Она же отвечала, что перемену делают только по воскресеньям, а мои угрозы пожаловаться хозяйке лишь рассмешили ее.

Впервые в жизни я плакал от огорчения и злости. В школе я все утро спал, и один из моих товарищей рассказал учителю о причине, желая посмеяться надо мной. Но ниспосланный самим Провидением добрый священник отвел меня к себе в комнату и, удостоверившись собственными глазами в правдивости моего рассказа, тут же пошел со мной в пансион и указал ведьме на покрывавшие мою кожу волдыри. Священник пожелал осмотреть мою постель, и я, не менее чем он, был поражен нечистотой белья, на котором провел ночь. Проклятая баба твердила свое, присовокупляя угрозы прогнать девушку, но когда последняя через некоторое время появилась, то не пожелала терпеть обвинений и заявила, что виновата сама хозяйка. При этом она открыла постели моих товарищей, и мы могли убедиться, что с ними обходились ничуть не лучше. Обозлившаяся хозяйка влепила ей пощечину, но служанка не осталась в долгу, после чего спаслась бегством. Учитель ушел, сказав, что не примет меня в школу, если я не буду таким же опрятным, как и остальные ученики. А на мою долю остались брань и угрозы выставить меня за дверь, если подобная история повторится.

Учитель взял на себя особливую заботу о моем образовании. Он даже усадил меня за свой стол, и я, дабы доказать, что чувствителен к такому отличию, изо всех сил принялся учить-

ся: уже через месяц я писал настолько хорошо, что мне велено было приниматься за грамматику.

Новый образ жизни, неутраченные муки голода и прежде всего, конечно, падуанский воздух принесли мне здоровье, о котором ранее я не смел и помышлять. Но это же здоровье еще более усиливало голод, становившийся совсем непереносимым. Я рос на глазах, непробудно спал по девять часов и постоянно видел один и тот же сон: будто я сижу за столом, уставленным кушаньями, и насыщаюсь. А наутро приходилось убеждаться, сколь разочаровывают сладкие сны. Всепожирающий голод совсем извел бы меня, если бы я не принялся похищать и поедать все, что только можно было найти и взять, когда никто не видит.

Нужда делает человека изобретательным. Я заметил в кухонном шкафу штук пятьдесят копченых селедок и понемногу съел их все, равно как и подвешенные у дымохода колбасы. Для этого я вставал ночью и тихонько прокрадывался на кухню. Самым большим лакомством для меня были только что снесенные яйца, которые я таскал из птичника еще теплыми. Я занимался грабительством даже на кухне моего учителя.

Словенка, отчаявшаяся изловить вора, стала прогонять прислугу. Все же случай стащить что-нибудь представлялся далеко не всегда, и поэтому я был тощий, словно скелет.

За пять-шесть месяцев я сделал такие успехи, что учитель назначил меня старостой школы. В мои обязанности входило проверять уроки тридцати учеников, исправлять ошибки и подавать учителю с похвальным или порицательным отзывом. Однако же лентяи быстро нашли способ смягчить меня. Когда в их латыни обнаруживались ошибки, они покупали мою снисходительность жареными котлетами, а иногда и деньгами. В скором времени я уже не довольствовался контрибуцией с невежд и, как истинный тиран, отказывал в своем благоволении каждому, кто не сумел задобрить меня. Не в силах сносить больше такую несправедливость, они пожаловались учителю. Я был уличен и низвергнут. Несомненно, это падение принесло бы мне большую беду, если бы судьба не положила вскоре конец моему первоначальному искусу.

Учитель все-таки любил меня и однажды, приведя в свою комнату, спросил, не хочу ли я последовать некоторым его советам, дабы распрощаться с пансионом словенки и перейти к нему в дом. Видя восторг, вызванный этим предложением, он дал мне переписать три письма, которые я затем должен был отослать аббату Гримани, моему благодетелю синьору Баффо и доброй моей бабке. В этих письмах я описывал все свои

страдания, изображая неизбежность смерти, если не заберут меня от словенки и не поместят к моему учителю, который, однако, желает иметь два цехина в месяц.

Синьор Гримани даже не удостоил меня ответом и лишь велел своему другу Оттавиани выговорить мне за то, что я дал совратить себя с правильного пути. Однако синьор Баффо поговорил с моей бабкой и в письме сообщил мне, что в скором времени я могу надеяться на перемену. Так оно и вышло — через неделю, как раз в ту минуту, когда я садился обедать, появилась моя добрейшая бабка. Она вошла вместе с хозяйкой, и я, едва завидев ее, тут же бросился ей на шею, обливаясь слезами. Она села и поставила меня меж колен, уже одним присутствием сообщив мне спокойствие и уверенность. Тут же при самой словенке я перечислил ей все свои злоключения и, указав на нищенский стол, который составлял единственное мое пропитание, отвел ее к своей постели. Закончил я просьбой накормить меня настоящим обедом после шести месяцев голодного существования. Сама словенка только твердила, что не могла предоставить ничего лучшего за те деньги, которые ей заплатили. Это была суцая правда, но кто принуждал ее держать пансион и быть мучительницей детей, которых родительская скарденность оставляла на ее попечение?

Моя бабка с совершенным спокойствием объявила ей, что намеревается забрать меня, и велела уложить в сундучок все мои пожитки. Я с восторгом увидел свой серебряный прибор и, схватив его, поспешил спрятать в карман. Радость моя при виде приготовлений не поддается описанию. Впервые в жизни я почувствовал то удовлетворение, которое заставляет все простить и изгладить из памяти.

Бабка отвела меня в гостиницу, где она остановилась, и мы сели обедать. Впрочем, сама она ни к чему не притрагивалась, настолько поразила ее та жадность, с которой я набросился на еду. Тем временем явился предупрежденный уже доктор Гоцци, достойные манеры которого сразу расположили бабку в его пользу. Благообразный священник двадцати шести лет от роду отличался дородностью, скромным обращением и услужливостью. За четверть часа все было договорено. Добрая моя бабка отсчитала ему двадцать четыре цехина за год вперед и получила в том квитанцию. Однако же она продержала меня у себя еще три дня, чтобы нарядить в одеяния аббата и заготовить парик: вследствие нечистоплотности мне пришлось обрезать волосы.

По прошествии трех дней она пожелала лично водворить меня к доктору Гоцци и просить его мать позаботиться обо

мне. Последняя сначала потребовала, чтобы для меня прислали или купили кровать, но доктор возразил, что я могу спать с ним, так как постель его достаточно вместительна. Бабка поблагодарила его, после чего мы пошли проводить ее к барке, на которой она отправлялась обратно в Венецию.

Семейство доктора Гоцци состояло из его матери, относившейся к нему с большим почтением, поскольку родилась она простой крестьянкой и не считала себя достойной иметь сына священника: она была стара, безобразна и сварлива; отца, башмачника, который работал целыми днями и не говорил никому ни слова, даже за столом. Лишь по праздникам он становился общительнее, так как в эти дни неизменно посещал питейное заведение в компании приятелей и возвращался лишь к полуночи, едва держась на ногах и распевая стихи Тассо. В таком состоянии старик никак не мог улечься, а когда его пытались принудить к тому, свирепел. Трезвый он был совершенно лишен сообразительности и не мог рассуждать даже о самом пустячном семейном деле. Жена его говаривала, что он никогда бы на ней не женился, если бы перед тем, как идти в церковь, его не угостили добрым завтраком.

Доктор Гоцци имел также сестру тринадцати лет по имени Беттина. Это была веселая, красивая девица и великая охотница до чтения романов. Отец с матерью непрестанно бранили ее за то, что она слишком много времени проводит у окна, а доктор не одобрял пристрастия сестры к чтению. Сия девица сразу же приглянулась мне, хоть я и не понимал причины этого чувства. Именно тогда мало-помалу возгорелись в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии сделалась для меня господствующей.

Через шесть месяцев после моего водворения в этом доме доктор оказался без учеников — все они перестали ходить к нему, так как я сделался единственным предметом его привязанности. По этой причине он решился открыть небольшую школу с пансионом, однако прошло два года, прежде чем таковой замысел смог осуществиться, а тем временем он передал мне все свои познания, которые, по правде говоря, были весьма скромными. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы познакомить меня со всеми науками. Кроме того, я выучился у него играть на скрипке, чем был принужден воспользоваться при обстоятельствах, о которых читатель узнает в свое время. Добрый доктор Гоцци, не обладая глубиной ни в каком предмете, преподавал мне аристотелеву логику и космографию по древней системе Птолемея: а я непрестанно подсмеивался и выводил его из себя вопросами, на которые